В. Е. ВЕТЛОВСКАЯ

ПРИЕМЫ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛЕМИКИ В «ПРЕСТУПЛЕНИИ И НАКАЗАНИИ» ДОСТОЕВСКОГО

Существует распространенное мнение о том, что Достоевский, споря со своими героями, отрицателями и бунтарями, оставляет им всю логическую убедительность рациональных построений, что несогласие автора с идеологическим противником (тем или иным героем романа) по необходимости и главным образом выражается на уровне внелогических, внерациональных положений. На стороне героев оказывается доказуемая и доказанная истина, а на стороне автора — его сугубо личные симпатии, т.е. в сущности — не столько убеждения, сколько предубеждения. При этом нередко ссылаются на известное признание Достоевского в одном из писем 1854 г.: «...я сложил себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпа<ти>чнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и *действительно* было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной» (28_1, 176).[1] Заключи-

[1] Ср. слова Шатова Ставрогину в романе «Бесы» (1872): «...не вы ли говорили мне, что если бы математически доказали вам, что истина вне Христа, то вы бы согласились лучше остаться со Христом, нежели с истиной?» (10, 198). Затем слова Достоевского в набросках возражения К. Д. Кавелину (1881): «Добро — что полезно, дурно — что не полезно. Нет, то, что любим. Все Христовы идеи оспоримы человеческим умом и кажутся невозможными к исполнению. Подставлять ланиту, возлюбить более себя. Помилуйте, да для чего это? Я здесь на миг, бессмертия нет, буду жить в мою <...>. Нерасчетливо <...> Извольте уж мне знать, что расчетливо, что нет» (27, 56). «Подставить ланиту, любить больше себя — не потому, что полезно, а потому, что нравится, до жгучего чувства, до страсти». И сразу же далее (в виде уступки, полемического допущения возможной крайности): «Христос ошибался — доказано! (т.е. допустим, что Христос ошибался, и это доказано.— *В. В.*) Это жгучее чувство говорит: лучше я останусь с ошибкой, со Христом, чем с вами» (27, 57). Но еще неизвестно, с кем истина. Ср. слова старца Зосимы в «Братьях Карамазовых» (1880): «А насмешников вопросить бы самих: если у нас мечта, то когда же вы-то воздвигнете здание свое и устроитесь справедливо лишь умом своим, без Христа? <...> Воистину у них мечтательной фантазии более, чем у нас. Мыслят устроиться справедливо, но, отвергнув Христа, кончат тем, что зальют мир кровью, ибо кровь зовет кровь, а извлекший меч погибнет мечом. И если бы не обетование Христово, то так и истребили бы друг друга даже до последних двух человек на земле. Да и сии два последние не сумели бы в гордости своей удержать друг друга, так что последний истребил бы предпоследнего, а потом и себя самого» (14, 288).

© В. Е. Ветловская, 1996

lib.pushkinskijdom.ru

тельные слова признания обычно воспринимаются так, будто мысль, что истина вне Христа (не только в романах Достоевского, но и вообще), уже доказана. Но ведь это не так.[2]

В черновых заметках к роману «Преступление и наказание» Достоевский записывает главную идею, передающую «православное воззрение»: «Нет счастья в комфорте, покупается счастье страданием. Таков закон нашей планеты <...> Человек не родится для счастья. Человек заслуживает свое счастье, и всегда страданием. Тут нет никакой несправедливости, ибо жизненное знание и сознание (т.е. непосредственно чувствуемое телом и духом, т.е. жизненным всем процессом) приобретается опытом pro и contra, которое нужно перетащить на себе» (7, 154—155). Путь человека к счастью, по мысли Достоевского, является одновременно и путем выяснения истины, воспринимаемой «знанием и сознанием» в результате мучительного «опыта pro и contra». Ведь представление о том, что счастье заключается в материальном благополучии («в комфорте»), — только расхожее заблуждение. Однако заметим: там, где речь идет об истине, добываемой «опытом pro и contra», речь идет о логике.

В этой статье мы постараемся продемонстрировать некоторые положения логической аргументации автора «Преступления и наказания», в целом направленной против теоретических построений главного героя, занятого проблемой личного и общего счастья. Остановимся на нескольких моментах — методе доказательства, избранном Достоевским в полемике со своим противником (этот метод является общим для всех романов писателя), логическом итоге, к которому такой метод ведет, и важнейших аргументах.

Опровергая противника и утверждая наиболее глубокие свои идеи, Достоевский пользуется, как правило, методом косвенного доказательства. В математике он называется доказательством от противного. Суть его в следующем: из двух противоречащих суждений: *А* (здесь суждение автора) и *В* (суждение его героя) — является истинным либо первое, либо второе. Если доказана ложность одного из противоречащих друг другу суждений, истинность второго разумеется сама собой. В риторике такой способ опровержения противника именуется доводом ex concessis (доводом из заимствования). Он предполагает временную уступку противнику (согласие с тем или иным его утверждением) и далее такое развитие его идеи, которое в логическом итоге оборачивается очевидной нелепостью, абсурдом. Поэтому иногда весь этот способ опровержения чужой и доказательства собственной мысли называется по его итогу — reductio ad absurdum (сведение к абсурду). У Достоевского reductio ad absurdum служит излюбленным приемом полемики. Вот краткий пример такого приема (статья «По поводу элегической заметки „Русского вестника“»: Время. 1861, № 10): «Итак (Достоевский подытоживает нападки «Русского вестника» на пишущую братию. — *В. В.*), между

---

[2] О словах Достоевского по поводу Христа и истины в более осторожном, чем принято, и вдумчивом истолковании см., например: *Буданова Н. Ф.* Достоевский о Христе и истине // Достоевский. Материалы и исследования. СПб., 1992. Т. 10. С. 21—29; *Тихомиров Б. Н.* О «христологии» Достоевского // Там же. 1994. Т. 11. С. 102—112.

lib.pushkinskijdom.ru

борзописцами, между заблуждающимися (уж уступим вам это, на время, вполне), нет ни одной чистой совести, ни одного честного существа, ни одного непустого человека, ни одного действительно трудящегося, заботящегося, страдающего, мученика мысли и науки. Как же вы говорите: „начнется жизнь, и гниль исчезнет сама собой?" Да как же она начнется в такой среде, с такими людьми? По щучьему веленью?» (19, 173).

Но для начала подчеркнем то важнейшее положение в размышлениях героя-антагониста, тот пункт, относительно которого Достоевский никогда не спорит со своим противником. Это касается мысли о неблагообразии жизни, допускающей и сплошь и рядом признающей неизбежностью или благом торжество зла. В 1873 г., отвечая на критику Н. К. Михайловского и слегка варьируя в своем ответе слова апостола Павла, Достоевский писал: «Смею уверить г-на Н. М., что „лик мира сего" мне самому даже очень не нравится» (21, 157, ср. 468, коммент.).

Изъяны, безобразящие лик мира (и естественные для общества, цивилизующегося на европейский буржуазный лад), в «Преступлении и наказании» показаны детализированно и резко. Они демонстрируются с первых страниц и становятся общим фоном для главной драмы.

Источник многих бед и страданий современного мира, печать его органической ущербности — убогое существование многочисленных обитателей городских углов, квартир, домов и целых кварталов; бедность и нищета. Они особенно заметны в столице («в сей великолепной и украшенной многочисленными памятниками столице», 6, 16), где с холодным равнодушием и по контрасту их оттеняют блеск и богатство: «Тут не было ни духоты, ни вони, ни распивочных <...> Иногда он (Раскольников. — *В. В.*) останавливался перед какою-нибудь изукрашенною в зелени дачей, смотрел в ограду, видел вдали, на балконах и на террасах, разряженных женщин и бегающих в саду детей <...> Встречались ему тоже пышные коляски, наездники и наездницы; он провожал их с любопытством глазами...» (6, 45). Затем на Неве, при виде красот ее набережной, дворца и собора: «Необъяснимым холодом веяло на него всегда от этой великолепной панорамы; духом немым и глухим полна была для него эта пышная картина...» (6, 90). И конечно, не только для него. «Дух немой и глухой»,[3] не оживляющий, но мертвящий «великолепную панораму», — дух болезни и смерти, темный дух преисподней, враждебный людям. Он заражает немотой и глухотой, равнодушием и бессердечием их души. «Милостивый государь,— начал он (Мармеладов. — *В. В.*) почти с торжественностию, — бедность не порок, это истина. <...> Но нищета <...> нищета — порок-с. В бедности вы еще сохраняете свое благородство врожденных чувств, в нищете же никогда и никто. За нищету даже не палкой выгоняют, а метлой выметают из компании человеческой, чтобы тем оскор-

[3] Ср.: «Иисус <...> запрети духу нечистому, глаголя ему: душе немый и глухий, Аз ти повелеваю: изыди из него и ктому не вниди в него. И возопив и много пружався, изыде...» (Мк. 9: 25—26).

lib.pushkinskijdom.ru

бительнее было; и справедливо, ибо в нищете я первый сам готов оскорблять себя. И отсюда питейное!» (6, 13).

Но бедность и нищета — понятия относительные. В сравнении с Мармеладовым, у которого нет ни копейки, Раскольников беден: из своих грошей он может даже кому-то помочь — семейству того же Мармеладова («Уходя, Раскольников успел просунуть руку в карман, загреб сколько пришлось медных денег, доставшихся ему с разменянного в распивочной рубля, и неприметно положил на окошко», 6, 24—25), девочке на бульваре («Послушайте <...> вот (он пошарил в кармане и вытащил двадцать копеек; нашлись) вот, возьмите извозчика и велите ему доставить по адресу», 6, 41). Но, будучи бедным в глазах одних, таких, как Мармеладов, Раскольников выглядит нищим в глазах других: двадцать копеек, отданные на бульваре, очень скоро возвращаются герою в качестве подаяния: «...в ту минуту, как он стоял у перил и все еще бессмысленно и злобно смотрел вслед удалявшейся коляске, потирая спину, вдруг он почувствовал, что кто-то сует ему в руки деньги. Он посмотрел: пожилая купчиха <...> и с нею девушка <...> вероятно дочь. „Прими, батюшка, ради Христа". Он взял, и они прошли мимо. Денег двугривенный. По платью и по виду они очень могли принять его за нищего, за настоящего собирателя грошей на улице, а подаче целого двугривенного он, наверно, обязан был удару кнута, который их разжалобил» (6, 89). Однако сострадание редко. Гораздо чаще бедность и нищета вызывают иную реакцию — ту самую, о которой говорит Мармеладов и которая купчих и «разжалобила». Кучер ударил Раскольникова под одобрительные смешки и восклицания публики именно за нищету, только потому, что «по платью и по виду» тотчас определил размеры его состояния, но он, разумеется, не посмел бы ударить Лужина, как бы тот ни зазевался. «Благородство врожденных чувств» бедняку отпущено в той степени, которая соответствует его достатку, не больше. Ср.: «Он (помощник квартального надзирателя, „поручик-порох". — *В. В.*) искоса и отчасти с негодованием посмотрел на Раскольникова: слишком уж на нем был скверен костюм, и, несмотря на все принижение, все еще не по костюму была осанка; Раскольников, по неосторожности, слишком прямо и долго посмотрел на него, так что тот даже обиделся.

— Тебе чего? — крикнул он, вероятно удивляясь, что такой оборванец и не думает стушевываться от его молниеносного взгляда» (6, 76).

Бедняк страдает от унижений не менее, чем от голода и наготы. Почти каждый может его напугать, прибить, выгнать из дома (ибо куда и кому он пойдет жаловаться, если и в официальном учреждении его встречают по платью?). Чем более он стеснен в средствах, тем более он унижен. В положении крайней стесненности, когда удовлетворение самых минимальных, самых насущных потребностей (в еде, одежде, крове) оказывается не по карману, существование становится настолько выморочно убогим, что теряет всякое подобие нормальной жизни, оно становится оскорбительным. И Мармеладов, и любой другой «в нищете <...> сам готов оскорблять себя». Потому, конечно, что нечеловеческое существование — насмешка над человеческим достоинством. Об этом достоинстве (что бы герой ни говорил) невозможно забыть ни в какой нищете (как раз в

lib.pushkinskijdom.ru

нищете о нем труднее всего забыть, ведь, будучи постоянно и со всех сторон ущемленным, оно все время о себе напоминает). Невозможно забыть, зато можно отчасти забыться — выйти из колеи всегдашних забот и унижений, поплакать и себя пожалеть. И обычно «отсюда питейное».

Поскольку достаток бедняка обозначен в самом его виде, то весь позор его жизни открыт любому взгляду. У бедняка нет и не может быть тайн, так как главный его грех и связанные с ним пороки написаны на его костюме, их нельзя спрятать в его углу или в проходной комнате, у которой не закрываются двери. Бедность вообще нельзя скрыть, ее можно только демонстрировать: «Ничего-с! Сим покиванием глав не смущаюсь, ибо уже всем все известно и все тайное становится явным; и не с презрением, а со смирением к сему отношусь. Пусть! Пусть!» (6, 14). Слова о «покивании глав» отсылают, в частности, к стихам псалма, обращенным к Богу и передающим сетования тех, кто обездолен: «Положил еси нас поношение соседом нашим, подражнение и поругание сущим окрест нас. Положил еси нас в притчу во языцех, покиванию главы в людех. Весь день срам мой предо мною есть, и студ лица моего покры мя, от гласа поношающаго и оклеветающаго, от лица вражия и изгоняющаго <...> вменихомся яко овцы заколения. Востани, вскую спиши, Господи; воскресни, и не отрини до конца. Вскую лице Твое отвращаеши; забываеши нищету нашу и скорбь нашу; яко смирися в персть душа наша, прильпе земли утроба наша. Воскресни, Господи, помози нам и избави нас имени ради Твоего» (Пс. 43:14—17, 23—27).

Страдания Страшного суда (тот стыд, который испытают люди, когда тайное станет явным и их грехи перед всеми обнажатся [4]) бедняку знакомы здесь, на земле; они им не просто пережиты, но в какой-то мере уже и изжиты («Пусть! Пусть!»). Но если можно смириться с собственным срамом и горем, то гораздо труднее смириться с горем родных, с несчастьем голодных и раздетых детей. Их страдания многократно увеличивают скорбь. Вытесняя все прочие чувства, она способна обрести такую силу, с которой не справляется ум. Ведя человека в глубины отчаяния и безнадежности, эта скорбь самую любовь к родным, которым нельзя помочь, любовь, заповеданную Богом и естественную для человеческого сердца, временами обращает в раздражение и злобу: «Но не вините, не вините, милостивый государь, не вините! Не в здравом рассудке сие сказано было, а при взволнованных чувствах, в болезни и при плаче детей не евших, да и сказано более ради оскорбления, чем в точном смысле...

---

[4] По мнению аввы Дорофея (VI—VII в.) и других христианских мыслителей, этот стыд может быть страшнее многих загробных мучений: «...грешники получают места темные и мрачные, полные страха и ужаса. Ибо что страшнее и бедственнее тех мест, в которые посылаются демоны? И что ужаснее муки, на которую они будут осуждены? <...> А еще страшнее то, о чем говорит святый Иоанн Златоуст: „если бы и не текла река огненная и не предстояли страшные ангелы, но только призывались бы все человеки (на суд), и одни, получа похвалу, прославлялись бы, другие же отсылались бы с бесчестием, чтобы не видеть им славы Божией: то наказание оным стыдом и бесчестием и скорбь об отпадении от толиких благ не была ли бы ужаснее всякой геенны?“» (Преподобного отца нашего аввы Дорофея душеполезные поучения и послания с присовокуплением вопросов его и ответов на оные Варсануфия Великого и Иоанна Пророка. 7-е изд. Козельской Введенской Оптиной Пустыни. 1895. С. 148—149).

lib.pushkinskijdom.ru

Ибо Катерина Ивановна такого уж характера, и как расплачутся дети, хоть бы и с голоду, тотчас их бить начинает» (6, 17). И та же скорбь в том же состоянии отчаяния и безысходности (в противоположность отупляющему бесчувствию, которое неизбежно при беспрерывных невзгодах) может стать наконец источником страдальчески-больного, безрадостного наслаждения. И отсюда тоже «питейное»: «Для того и пью, что в питии сем сострадания и чувства ищу... Не веселья, а единой скорби ищу... Пью, ибо сугубо страдать хочу! — И он, как бы в отчаянии, склонил на стол голову» (6, 15). Такое существование со всеми его «наслаждениями» для измученных душ, по-видимому, не слишком далеко от адской муки. Ср.: «Ее (Катерину Ивановну. — *В. В.*) опустили опять на подушку.

— Что? Священника?.. Не надо... Где у вас лишний целковый?.. На мне нет грехов!.. Бог и без того должен простить... Сам знает, как я страдала!.. А не простит, так и не надо!..» (6, 333).

Для бедняков, изо дня в день испытывающих лишения и нужду, величайшую ценность имеют деньги; на них можно кое-как жить — есть, пить, одеваться, платить за комнату или угол (не случайно какой-нибудь целковый, который не способен ни от чего бы то ни было избавить, ни чему бы то ни было помочь, оказывается едва ли не дороже спасения души). И вещи: они необходимы сами по себе и их всегда можно заложить и пустить в оборот: «Знаете ли, знаете ли вы, государь мой, что я даже чулки ее пропил? Не башмаки-с, ибо это хотя сколько-нибудь походило бы на порядок вещей, а чулки, чулки ее пропил-с! Косыночку ее из козьего пуха тоже пропил...» (6, 15). Вопросом о деньгах и платье Катерина Ивановна встречает мужа, пропадавшего несколько дней: «А! — закричала она в исступлении, — воротился! Колодник! Изверг!.. А где деньги? Что у тебя в кармане, показывай! И платье не то! где твое платье? где деньги? говори» (6, 24).

Вещи и деньги являются величайшей ценностью не только для бедняков, постоянно чувствующих их нехватку, но и для людей вполне обеспеченных. В глазах большинства они ценнее любой взывающей к помощи и состраданию души и с ними с большой неохотой расстаются: «Вот вы знаете, например, заранее и досконально, что сей человек, сей благонамереннейший и наиполезнейший гражданин, ни за что вам денег не даст, ибо зачем, спрошу я, он даст? Ведь он знает же, что я не отдам. Из сострадания? Но господин Лебезятников, следящий за новыми мыслями, объяснял намедни, что сострадание в наше время даже наукой воспрещено и что так уже делается в Англии, где политическая экономия. Зачем же, спрошу я, он даст?» (6, 14). В дальнейшем Лужин разъясняет эти положения экономической науки, согласно которым сострадание не просто излишне, но и вредно: «Если мне, например, до сих пор говорили: „возлюби“, и я возлюблял, то что из этого выходило? <...> выходило то, что я рвал кафтан пополам, делился с ближним, и оба мы оставались наполовину голы <...> Наука же говорит: возлюби прежде всех одного себя, ибо все на свете на личном интересе основано. Возлюбишь одного себя, то и дела свои обделаешь как следует, и кафтан твой останется цел. Экономическая же правда прибавляет, что чем более в обществе устроенных частных дел и, так сказать, целых кафтанов, тем более для него твердых оснований и тем более устраивается в нем и общее

lib.pushkinskijdom.ru

дело. Стало быть, приобретая единственно и исключительно себе, я именно тем самым приобретаю как бы и всем и веду к тому, чтобы ближний получил несколько более рваного кафтана и уже не от частных, единичных щедрот, а вследствие всеобщего преуспеяния. Мысль простая, но, к несчастию, слишком долго не приходившая, заслоненная восторженностью и мечтательностию, а казалось бы, немного надо остроумия, чтобы догадаться...» (6, 116),

Лужин коротко и точно излагает общие места экономической науки,[5] отвергающей как нечто несбыточное и мечтательное заповедь любви к ближнему, ту заповедь, которая повелевает делиться с ближним (т.е. любым другим) и нижней рубашкой, и верхней одеждой и которая была возвещена Тем, Кто не то что рубашку, а жизнь свою отдал людям: «Аз приидох, да живот имут и лишше имут. Аз есмь пастырь добрый: пастырь добрый душу свою полагает за овцы» (Ин. 10:10—11).[6] В противоположность и в отмену этой заповеди новейшие экономические учения начинают и кончают личным интересом, т.е., как правильно понимает Лужин, рекомендуют каждому прежде всего возлюбить одного себя. Таким образом, эгоизм, который до недавних пор считался пороком, оказался не только оправданным, но и возведенным в добродетель. Вот и все «открытия» науки. Она не в силах дать каждому по кафтану, зато она обнаружила забавную готовность приветствовать тех, у кого он есть. Это и в самом деле довольно остроумно.

Безусловно, возлюбив одного себя, человек способен лучше обделать свои дела и остаться с целым кафтаном. Безусловно также, что чем больше в обществе обеспеченных людей и целых кафтанов, тем это общество более прочно и благоустроено. Но из первого положения отнюдь не следует второго: из того, что человек приобретает «единственно и исключительно» для себя, отнюдь не следует, что он приобретает «как бы и всем» и ведет «к тому, чтобы ближний» тоже обзавелся целым кафтаном. В действительности происходит нечто обратное тому, что говорят Лужин и экономическая наука. Эта наука предполагает общество равных возможностей для всех и каждого и обделывать свои дела, и оставаться с целым кафтаном. Но такого общества в действительности нет и никогда не было. Любые дела в свою пользу всегда обделываются кому-то во вред и за чей-то счет и никак иначе (в противном случае пользу своей не называют). И потом: как обделывать свои дела и оставаться с целым кафтаном тому, у кого для начала этого кафтана нет, тем, у кого один драдедамовый платок

---

[5] Указания на некоторые источники этих идей см. в комментарии к роману в Академическом издании Г. Ф. Коган и Г. М. Фридлендера (7, 374—375).

[6] Христианская заповедь любви имеет свои особенности. «В Ветхом Завете заповедано было любить ближнего как *самого себя;* следовательно там мерою и нормою любви *к ближнему* служила любовь *к самому себе*. Заповедь эта заключена была в определенные границы, относилась только к единоплеменникам и допускала существование права возмездия. Спаситель нормою любви определяет *Свою собственную любовь;* а Его любовь к людям была такого рода, что состояла не только в исполнении долга справедливости, но и *в самоотвержении,* в готовности на все жертвы за других, следовательно любовью более к ближним, чем к самому себе; любовь Его была всеобщая, обнимавшая собою всех людей, даже врагов» (Жития святых, на русском языке изложенные по руководству Четьих-Миней св. Димитрия Ростовского. М., 1906. Кн. 7. С. 698).

lib.pushkinskijdom.ru

на всех (6, 17)? Иначе говоря, как избыть горе, свести концы с концами или выбиться в люди из бедности и нищеты? Ведь деньги не могут свалиться ниоткуда и никто ни с того ни с сего не станет для другого раскошеливаться. «Зачем же, спрошу я, он даст? И вот, зная вперед, что не даст, вы все-таки отправляетесь в путь и...

— Для чего же ходить? — прибавил Раскольников.

— А коли не к кому, коли идти больше некуда! Ведь надобно же, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти» (6, 14).

Но куда может пойти бедняк? В какой путь?

Куда бы бедняк ни отправлялся, почти все пути (которых не так уж много) ведут его не вверх, из бедности в благополучие, а вниз — из бедности в нищету; не к тому, чтобы приобрести новый кафтан, а к тому, чтобы спустить и тот, что есть. В частности потому, что среди забот, мучающих бедного человека, забота о кафтане далеко не всегда бывает главной. Одной мысли о том, что от этого кафтана в глазах ближних и дальних, родных и чужих зависят все твои достоинства, вполне довольно для того, чтобы с ним расстаться где-нибудь в распивочной. Желание быть признанным для человека благодаря приличному платью не сильнее желания получить такое признание вопреки любому платью, хотя бы оно было и рубищем, сплошным лохмотьем. Тоска о том, чтобы в тебе увидели человека потому только, что ты им являешься (как бы ты ни был одет), и почеловечески тебя пожалели, часто стоит любых забот. Ведь если наука и может (для успокоения чьей-то темной совести) воспретить сострадать какому-нибудь горемыке, то она никак не может воспретить этому горемыке испытывать потребность в сострадании: «Пусть, пусть я подлец, она же и сердца высокого, и чувств, облагороженных воспитанием, исполнена. А между тем... о, если б она пожалела меня! <...> ведь надобно же, чтоб у всякого человека было хоть одно такое место, где бы и его пожалели!» (6, 14—15). И далее: «Раздался смех и даже ругательства. Смеялись и ругались слушавшие и неслушавшие, так, глядя только на одну фигуру отставного чиновника.

— Жалеть! зачем меня жалеть! — вдруг возопил Мармеладов, вставая с протянутою вперед рукой, в решительном вдохновении, как будто только и ждал этих слов, — Зачем жалеть, говоришь ты? Да! меня жалеть не за что! Меня распять надо, распять на кресте, а не жалеть! Но распни, судия, распни и, распяв, пожалей его! И тогда я сам к тебе пойду на пропятие, ибо не веселья жажду, а скорби и слез!.. <...> а пожалеет нас Тот, Кто всех пожалел и Кто всех и вся понимал, Он единый, Он и судия» (6, 20—21). Но до тех пор пока это произойдет, всякий, обойденный сочувствием и участием, восполняет их недостаток, жалея самого себя. Кто как может. Хотя бы и за счет кафтана. Хотя бы и в ущерб себе и самым близким родным — именно тем, кто, в отличие от остальных, искренне способен бедняку посочувствовать. Но, конечно, такая жалость к себе, как бы ни были извинительны ее причины, и преступление, и грех: «— Пропил! все, все пропил! — кричала в отчаянии бедная женщина, — и платье не то! Голодные, голодные! (и, ломая руки, она указывала на детей). О, трсклятая жизнь!» (6, 24).

lib.pushkinskijdom.ru

Если сострадание и бескорыстная помощь в современном обществе не в чести, то помощь, основанная на личном интересе и корысти, представляется (с оговорками или без оговорок) достаточно почтенной: «Славная она (старуха процентщица. — *В. В.*) <...> у ней всегда можно денег достать. Богата как жид, может сразу пять тысяч выдать, а и рублевым закладом не брезгает. Наших много у ней перебывало. Только стерва ужасная...

И он стал рассказывать, какая она злая, капризная, что стоит только одним днем просрочить заклад, и пропала вещь. Дает вчетверо меньше, чем стоит вещь, а процентов по пяти и даже по семи берет в месяц и т.д.» (6, 53). Ростовщик наживается на чужой нужде. Чем больше нужда, тем больше у ростовщика возможностей извлечь из нее доход себе на пользу: «— Рубля-то четыре дайте, я выкуплю, отцовские. Я скоро деньги получу.

— Полтора рубля-с и процент вперед, коли хотите-с.

— Полтора рубля! — вскрикнул молодой человек.

— Ваша воля. — И старуха протянула ему обратно часы. Молодой человек взял их и до того рассердился, что хотел было уже уйти; но тотчас одумался, вспомнив, что идти больше некуда...» (6,9).

Выкупит должник свой заклад или нет, ростовщик ничего не теряет; напротив, он всегда выгадывает. В том и другом случае теряет только должник. И хотя он вступает в невыгодную для себя сделку по собственной воле («Ваша воля»), эта сделка — не что иное как воровство, едва прикрытое благовидным покровом. Оправданием любой, самой грабительской сделки служит именно добровольность согласия на те условия, которые диктует должнику заимодавец. Но ведь эта добровольность вынужденная. Никто не стал бы действовать для чьей-то выгоды, себе в убыток, если бы не крайняя надобность, если бы можно было еще куда-то пойти.

Достаток ростовщика, ворующего у бедняка и вещи, и последние копейки, — плод преступления (которое, в отличие от других хищений, не карается гражданскими законами) и греха. «Ничего, ничего нет постыднее и жестокосерднее,— говорит св. Иоанн Златоуст, — как брать рост здесь на земле. В самом деле, ростовщик обогащается за счет чужих бедствий, несчастье другого обращает себе в прибыль, требует платы за человеколюбие <...> помогая, теснит нищего; подавая руку, толкает его; по-видимому вводит в пристань, а в то же время подвергает крушению...».[7] И еще: «Не говори мне о внешних законах. И мытарь исполняет закон внешний, но несмотря на то повинен наказанию. То же придется испытать и нам, если не перестанем притеснять бедных в нужде и в несчастиях и пользоваться этим случаем для постыдного прибытка. Ты для того имеешь деньги, чтобы облегчать бедность, а не для того, чтобы утеснять ее; а ты, под видом великодушия, только увеличиваешь бедность и продаешь милосердие за деньги».[8] Никакая милостыня из богатств, добытых неправедными средствами, не спасает заимодавца: «Но что еще го-

---

[7] Иже во святых отца нашего Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского Избранные творения. Толкование на святого Матфея Евангелиста. М., 1993. Т. 1. С. 59.

[8] Там же. Т. 2. С. 581—582.

lib.pushkinskijdom.ru

ворят многие: „я возьму проценты и подам бедным“ (старуха процентщица в «Преступлении и наказании» бедным не подает, она оставляет завещание, согласно которому все ее деньги назначаются в монастырь «на вечный помин души», 6, 53, т.е. чужой нуждой, рублями и копейками, она старается обеспечить свое благополучие и в этом веке, и в будущем. — *В. В.*) <...> только Богу не угодны такие приношения. Не хитри с законом (речь идет о Законе Божием. — *В. В.*). Лучше совсем не подавать нищему, чем подавать приобретенное такими средствами. Неправедным мздоимством ты нередко делаешь противозаконным и то богатство, которое собрал честными трудами...».[9] Ср. также: «...когда ты <...> похитив все имущество у ближнего, раздашь только малую часть его и притом не тем, у кого похитил, а другим, какое ты будешь иметь тогда оправдание? Какое прощение? Какую надежду спасения? Хочешь ли знать, сколь великое зло делает тот, кто оказывает такое милосердие? Послушай, что говорит Писание: *яко* убиваяй чадо *пред отцем его, тако приносяй жертву от имения* нищих <...> Хищение хуже убийства, поскольку оно медленно убивает бедного».[10] Заключая тему, Златоуст говорит: «Заимодавец никогда не наслаждается тем, что имеет, никогда не радуется об этом, да и тогда, когда нарастают проценты, не веселится о прибытке, напротив печалится о том, что рост еще не сравнился с капиталом <...> он старается пустить его в оборот, обращая в капитал и самые проценты <...> Вот — *союз неправды*! вот — *обдолжения насильных писаний!* (Имеются в виду расписки в долгах и займах. — *В. В.*). Человек говорит: я даю не для того, чтобы ты что-нибудь имел, но чтобы возвратил с лихвою. А Бог, напротив, не велит и отданное получать обратно. *Взаим дайте*, говорит Он, тем, от кого не ожидаете получить <...> ты же требуешь даже более того, сколько дал, и принуждаешь должника своего почитать долгом и то, чего ты не дал. Ты думаешь чрез это умножить свое имение; но вместо того уготовляешь для себя огонь неугасимый».[11]

К ростовщику идет тот, у которого есть надежда вернуть долг и проценты, у кого есть хоть какие-то вещи (если ростовщик берет в заклад). Но что делать тому, у кого нет ни вещей, ни надежд? «Теперь же обращусь к вам, милостивый государь мой, сам от себя с вопросом приватным: много ли может, по-вашему, бедная, но честная девица честным трудом заработать?.. Пятнадцать копеек в день, сударь, не заработает, если честна и не имеет особых талантов, да и то рук не покладая работавши! (Заметим, что пятнадцать копеек и даже гораздо больше старуха-процентщица берет у Раскольникова в виде процентов без всякой работы, 6, 10. — *В. В.*). <...> А тут ребятишки голодные... А тут Катерина Ивановна, руки ломая, по комнате ходит, да красные пятна у ней на щеках выступают <...> Лежал я тогда <...> пьяненькой-с, и слышу, говорит моя Соня <...> „Что ж, Катерина Ивановна, неужели же мне на такое дело пойти?“ А уж Дарья Францевна, женщина злонамеренная и полиции многократно известная, раза три через хозяйку наведывалась. „А что ж, — отвечает Ка-

[9] Там же. С. 582.
[10] Там же. С. 543.
[11] Там же. С. 583.

lib.pushkinskijdom.ru

терина Ивановна, в пересмешку, — чего беречь? Эко сокровище!"» (6, 16—17). Если у человека нет вещей, которые можно было бы продать или отнести в заклад, чтобы как-нибудь перебиться, то вещью (предметом купли-продажи) может стать он сам («Эко сокровище!»). В крайних случаях приходится идти и «на такое дело»: «— А коли не к кому, коли идти больше некуда! <...> Ибо бывает такое время, когда непременно надо хоть куда-нибудь да пойти! Когда единородная дочь моя в первый раз по желтому билету пошла, и я тоже тогда пошел...» (опять-таки приобщиться «питейному», 6, 14).

Проституция — тот вид заработка, который цивилизованным обществом хотя и презираем, но вполне терпим. На известных условиях («желтый билет»). О соблюдении этих условий заботится государство, оберегая интересы тех, кто покупает, в ущерб интересам тех, кто продает. Число несчастных женщин, занимающихся презренным ремеслом себе во вред, растет за счет обмана и насилия, за счет общей распущенности и снисходительности к пороку: «Этакая немудреная, и уж пьяная! Обманули, это как есть! <...> Ах как разврат-то ноне пошел!.. А пожалуй, что из благородных будет, из бедных каких... Ноне много таких пошло» (6, 42). Среди этих многих — дети: «...совсем еще как ребенок. Обманули, это как раз» (6, 41). Судьба всех этих женщин самая незавидная: «Бедная девочка! <...> пронюхают Дарьи Францевны, и начнет шмыгать моя девочка, туда да сюда... Потом тотчас больница <...> ну а там... а там опять больница... вино... кабаки... и еще больница... года через два-три — калека, итого житья ее девятнадцать аль восемнадцать лет от роду всего-с... Разве я таких не видал? А как они делались? Да вот все так и делались... Тьфу!» (6, 43). Но последствия грязной сделки, купли и продажи живого товара, государство не заботят. Напротив, его наука, его социальная публицистика находят формулы, отупляющие нравственное чувство и примиряющие с этим злом: «Это, говорят, так и следует. Такой процент, говорят, должен уходить каждый год... куда-то... к черту, должно быть, чтоб остальных освежать и им не мешать. Процент! Славные, право, у них эти словечки: они такие успокоительные, научные. Сказано: процент, стало быть, и тревожиться нечего. Вот если бы другое слово, ну тогда... было бы, может быть, беспокойнее... А что, коль и Дунечка как-нибудь в процент попадет!.. Не в тот, так в другой?». (Там же).[12]

Успокоительные словечки прячут трагедию: «И вижу я, эдак часу в шестом, Сонечка встала <...> и с квартиры отправилась, а в девятом часу и назад обратно пришла. Пришла, и прямо к Катерине Ивановне, и на стол перед ней тридцать целковых молча выложила. Ни словечка при этом не вымолвила, хоть бы взглянула, а взяла только наш большой прадедамовый зеленый платок <...> накрыла им совсем голову и лицо и легла на кровать, лицом к стенке, только плечики да тело все вздрагивают... А я, как и давеча, в том же виде лежал-с...» (6, 17). Нужда, заставляющая Соню с одобрения мачехи и попустительства отца отправиться в свой скорбный путь, отчасти извиняет дело, но ничего не меняет в его сути. Выложенный на стол позорный

---

[12] О научных теориях, которые здесь имеет в виду Достоевский, см. академический комментарий к роману (7, 368).

lib.pushkinskijdom.ru

заработок (тридцать целковых) намекает на тридцать сребреников — цену предательства Христа,[13] предательства, в котором повинны отец, мачеха, сама Соня и главным образом — социальное устройство общества в целом. Соня уходит из дома в шестом часу. Это время вечерней церковной службы. Героиня попадает в тот «процент», который для чьего-то удовольствия выставлен за порог храма и отправлен «куда-то... к черту». Это «жертва вечерняя».[14] Из года в год с удручающим постоянством ее приносит цивилизованное общество, отправляя на улицу, в непотребные дома, кабаки и больницы новых и новых несчастных. Принося эту жертву, оно кощунственно служит дьяволу, никак не Богу. «Ей (Соне. — *В. В.*) три дороги, — думал он (Раскольников. — *В. В.*): — броситься в канаву, попасть в сумасшедший дом, или... или, наконец, броситься в разврат, одурманивающий ум и окаменяющий сердце» (6, 247). Успокоительные словечки прячут грех, свой и чужой (ср.: «не льстите себе: ни блудницы <...> ни прелюбодеи <...> ни пианицы <...> Царствия Божия не наследят <...> тело же не блужению, но Господеви, и Господь телу», 1 Кор. 6:9—10, 13; а также стихи псалма о «жертве вечерней»: «Положи Господи хранение устом моим, и дверь ограждения о устнах моих. Не уклони сердце мое в словеса лукавствия, непщевати вины о гресех с человеки делающими беззаконие: и не сочтуся со избранными их», Пс. 140:3—4). Они прячут свое и чужое преступление. «Ты тоже переступила...», — говорит Раскольников Соне, — «смогла переступить. Ты на себя руки наложила, ты загубила жизнь... *свою* (это все равно!) Ты могла бы жить духом и разумом, а кончишь на Сенной...» (6, 252).

Таких, как Соня, все-таки немного («...положение Сони есть явление случайное в обществе, хотя, к несчастию, далеко не единичное и не исключительное», 6, 247). Гораздо больший «процент» тех, среди которых могла бы оказаться и едва не оказалась Дуня. В этот процент попадают женщины, стремящиеся выбиться из нищеты, обеспечить себя и родных с помощью брака по расчету. Если это расчет с обеих сторон, где каждый вместо любви ищет личную выгоду, нет никакой гарантии в том, что выгода одного не клонится к ущемлению другого. «А теперь вот вообразили (Дуня и мать. — *В. В.*) <...> что и господина Лужина можно снести, излагающего теорию о преимуществе жен, взятых из нищеты и облагодетельствованных мужьями, да еще излагающего чуть не при первом свидании» (6, 37). Теория Лужина сводится к тому, что в таком, как у него, неравном браке все преимущества по праву достаются мужу, а все унижения и несчастье зависимости — бедной жене. Это, рассуждает Раскольников, «только цветочки, а настоящие фрукты впереди! Ведь тут что важно: тут не скупость, не скалдырничество важно, а *тон* всего этого. Ведь это будущий тон после брака, пророчество...» (6, 36).

---

[13] См.: *Белов С. В.* Роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»: Комментарий. Л., 1979. С. 73.

[14] Ср. слова молитвы: «Да исправится молитва моя яко кадило пред Тобою: воздеяние руку моею, жертва вечерняя» (Пс. 140:2). Мотив «жертвы вечерней» несколько в ином повороте был использован Достоевским в «Униженных и оскорбленных» (уход Наташи Ихменевой из дома).

lib.pushkinskijdom.ru

Никакая видимость приличия, внешне нормальных отношений не может скрыть того факта, что брак с Лужиным означал бы для Дунечки положение «законной наложницы» и ничего больше (6, 37). Он означал бы чисто коммерческую сделку, при которой на продажу идет все: «О тут мы, при случае, и нравственное чувство наше придавим; свободу, спокойствие, даже совесть, все, все на толкучий рынок снесем. Пропадай жизнь!» (6, 37—38). Какой бы доброй целью ни диктовался тут расчет (благополучие не столько свое, сколько родных), он несоизмерим с размером приносимой жертвы: «Жертву-то, жертву-то <...> измерили ли вполне? Так ли? Под силу ли? В пользу ли? Разумно ли? Знаете ли вы, Дунечка, что Сонечкин жребий ничем не сквернее жребия с господином Лужиным? <...> Понимаете ли вы, что лужинская чистота все равно, что и Сонечкина чистота, а может быть, даже и хуже, гаже, подлее, потому что у вас, Дунечка, все-таки на излишек комфорта расчет, а там просто-запросто о голодной смерти дело идет! <...> Ну, если потом не под силу станет, раскаетесь? Скорби-то сколько, грусти, проклятий, слез-то, скрываемых ото всех <...> А с матерью что тогда будет? <...> А со мной?..» (6, 38). Возможный брак Дунечки с Лужиным не оправдал бы, как ясно, ее расчетов. Он непременно обернулся бы для нее слезами и скорбью, тяжкой Голгофой (6, 35). Ведь даже в тех случаях, когда расчет основан, так сказать, на равенстве паев в совершаемой сделке и произведен из самых лучших намерений, ничего доброго из этого не выходит: «И тогда-то <...> я, тоже вдовец, и от первой жены четырнадцатилетнюю дочь имея, руку свою предложил, ибо не мог смотреть на такое страдание. Можете судить потому, до какой степени ее бедствия доходили, что она, образованная и воспитанная и фамилии известной, за меня согласилась пойти! Но пошла! Плача и рыдая, и руки ломая — пошла! Ибо некуда было идти. Понимаете ли, понимаете ли вы, милостивый государь, что значит, когда уже некуда больше идти? Нет! Этого вы еще не понимаете...» (6, 16). Путь, которым вольно и невольно пошла бедная Катерина Ивановна, не приносит благополучия ни ей самой, ни Мармеладову, ни их детям. Напротив, он ведет ее и мужа к новым лишениям и страданиям, он ведет к греху и преступлению. Ср.: «Ай да Соня! Какой колодезь, однако ж, сумели выкопать! и пользуются! Вот ведь пользуются же! И привыкли. Поплакали, и привыкли. Ко всему-то подлец-человек привыкает!» (6, 25). Последнее замечание Раскольникова несправедливо: Мармеладовы «поплакали», но не «привыкли», иначе Мармеладов не помутился бы в рассудке, не спился бы окончательно, и Катерина Ивановна не умерла бы в безумии и чахотке. Да они и не «поплакали», они продолжают плакать, даже рыдать и биться вплоть до самого исхода — преждевременной и жуткой смерти.

Говоря Раскольникову, что тот еще не понимает «что значит, когда некуда больше идти», Мармеладов ошибается. Как раз это Раскольников понимает. Еще до разговора с Мармеладовым Раскольников идет к старухе процентщице на «пробу» и не бежит от нее, несмотря на злость и отвращение, именно потому, что сознает, что ему «идти больше некуда» (6, 9). Весь ужас нищенского существования ему знаком. Все пути, которые бедняку открыты, ему известны. За исключением одного, где героя ждет изнурительный труд с не-

lib.pushkinskijdom.ru

определенными надеждами на отдаленное и более или менее сносное будущее (путь Разумихина), все остальные ведут в тупик безысходности, в трагедию, убивающую и тело, и душу и заставляющую эту душу корчиться в судорогах, сопоставимых с адской мукой. Они навязывают людям роль палача или жертвы, или палача и жертвы вместе. Они ведут к греху и преступлению. В обществе, где главную ценность имеют вещи и деньги, цивилизованные формы приличия и законности скрывают первобытное зверство и даже «хуже, гаже, подлее», потому что оно исполнено лицемерия. Именуясь христианским, это общество кощунственно попирает заповеди Христа, заставляя страдать и грешить детей — самые невинные, самые чистые души: «...а дети? Разве Полечка не погибнет? Неужели не видала ты здесь детей, по углам, которых матери милостыню высылают просить? Я узнавал, где живут эти матери и в какой обстановке. Там детям нельзя оставаться детьми. Там семилетний развратен и вор. А ведь дети — образ Христов: „Сих есть Царствие Божие". Он велел их чтить и любить, они будущее человечество...» (6, 252).

Для себя Раскольников видит две дороги: «Или отказаться от жизни совсем! <...> послушно принять судьбу, как она есть, раз навсегда, и задушить в себе все, отказавшись от всякого права действовать, жить и любить!». Или «непременно что-нибудь сделать, и сейчас же, и поскорее. Во что бы то ни стало надо решиться, хоть на что-нибудь...». «Понимаете ли, понимаете ли вы, милостивый государь, что значит, когда уже некуда больше идти? — вдруг припомнился ему вчерашний вопрос Мармеладова, — ибо надо, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти...» (6, 39).

Герой решает пойти на грех и преступление не в пределах гражданского закона, а вопреки и в обход ему. Поскольку этот закон (который в дальнейшем судит и осуждает Раскольникова) в принципе не исключает, а покрывает грех и преступление, он с самого начала лишен моральной силы.

Итак, подчеркнем еще раз: Достоевский не спорит с героем, обличающим зло несправедливо устроенного мира. Полемика возникает там, где речь заходит о способах его переустройства. Один способ (его и отстаивает герой-антагонист) имеет в виду революционное, насильственное преобразование общества; другой (на нем настаивает автор) исключает насилие и предполагает преображение мира на основе любви, милосердия, сострадания, на основе тех истин, которые открыты людям в учении Христа. Эти-то две возможности изменения «лика мира сего» (путь насилия или путь любви) и оказываются в ситуации противоречащих друг другу суждений, в той ситуации, где ложность одного суждения означает истинность другого. Разумеется, ситуация *или... или* (истинно либо то, либо это) не исчерпывается проблемой путей переустройства мира, как они представлены в романе Достоевского. Говоря об этих путях, мы берем для иллюстрации теоретического соображения лишь самый простой, а вместе с тем и самый существенный пример, существенный потому, что он указывает общее направление, в котором движется мысль художника. По отношению к приведенному примеру все остальные аргументы в том же роде и не том же роде будут областью детализации и конкретных наблюдений.

lib.pushkinskijdom.ru

В центре повествования о Родионе Романовиче Раскольникове находится совершенное им преступление — убийство и ограбление старухи процентщицы. Сложная мотивировка этого злодейства (побуждение к нему не ограничивается какой-нибудь одной причиной, а объединяет несколько мотивов, на первый взгляд довольно слабо друг с другом связанных) рисует и преступление и преступника сразу в трех планах.

Во-первых, убийство и ограбление старухи процентщицы — уголовное преступление. И в таком случае Раскольников, убийца и грабитель, — уголовный преступник.

Во-вторых (и в более общем плане), это сведенный к минимуму вариант социальной революции, которая является не чем иным, как насильственным перераспределением богатств, и на практике означает то же убийство и ограбление (какими бы словами это ни называлось), только в более широких и впечатляющих масштабах. Раскольников в таком случае — потенциальный революционер. Не случайно о нем говорится в романе (слова Разумихина) как о возможном «политическом заговорщике» (6, 340, 341).

И в том и в другом плане неблаговидные действия оправдываются высокой целью: несчастье одного (немногих) искупается счастьем многих (всех других).

В-третьих (и в самом общем плане), убийство и ограбление — не что иное, как страшный грех и преступление против Господа Бога, идущие вразрез (если пока оставить в стороне все остальное) с известными заповедями — «Не убий», «Не укра́ди» (шестая и восьмая заповеди из десяти, начинающихся словами: «Аз есмь Господь Бог твой, да не будут тебе бози инии, разве Мене»). И тогда Раскольников оказывается носителем атеистической идеи, богоотступником, богоборцем.

Таким образом, то, что, казалось бы, идет в простом и, по-видимому, случайном ряду (герой-отрицатель у Достоевского всегда и революционер, и атеист), на самом деле внутренне тесно связано логической необходимостью.

Преступление Раскольникова теоретически, рационально обосновано. Герой руководствуется логикой, которая ему представляется безупречной: «...все, что решено в этот месяц, ясно как день, справедливо как арифметика» (6, 50). Но решения и вычисления Раскольникова не учитывают всех, вернее — важнейших для него, возможностей, всех или важнейших реальных фактов. Разумихин говорит: «Логика предугадает три случая, а их миллион!» (6, 197). Разумихин говорит это в контексте, который компрометирует логику вообще. Но такая компрометация несерьезна. Высказывание героя означает только, что есть логика и логика. Одна предугадывает «три случая», другая предусматривает настолько широкое поле возможностей, что оно способно вместить любую случайность. Само собой понятно, что смысл и направленность логических заключений там и тут никак не могут совпадать. И в этом все дело.

Теоретические построения Раскольникова опираются на недостаточные основания и потому ведут к поспешным и неправильным обобщениям. Его логика ущербна. Именно поэтому она оборачивается «казуистикой», ср.: «...весь анализ, в смысле нравственного

lib.pushkinskijdom.ru

разрешения вопроса, был уже им покончен: казуистика его выточилась, как бритва, и сам в себе он уже не находил сознательных возражений» (6, 58). Логика автора, полемизирующего со своим героем, напротив, строится на достаточно прочном фундаменте и предусматривает гораздо больше возможностей. Именно поэтому она в произведении неотразима.

Приведем пример из самого начала романа. Размышляя на тему, почему «так легко отыскиваются <...> почти все преступления и так явно обозначаются следы почти всех преступников» (еще до того, как герой пошел на «дело»), Раскольников в конце концов решил, что главная причина заключается в самом преступнике.В момент совершения преступления он «подвергается какому-то упадку воли и рассудка» как раз тогда, когда «наиболее необходимы рассудок и осторожность. По убеждению его (Раскольникова. — *В. В.*) выходило, что это затмение рассудка и упадок воли охватывают человека подобно болезни <...> затем проходят так же, как проходит всякая болезнь. Вопрос же: болезнь ли порождает самое преступление или само преступление, как-нибудь по особенной натуре своей, всегда сопровождается чем-то вроде болезни? — он еще не чувствовал себя в силах разрешить.

Дойдя до таких выводов, он решил, что с ним лично, в его деле, не может быть подобных болезненных переворотов, что рассудок и воля останутся при нем, неотъемлемо, во все время исполнения задуманного, единственно по той причине, что задуманное им — „не преступление"...» (6, 58—59). Если бы Раскольников действовал в соответствии со своими рациональными заключениями, он должен был бы повернуть от дома старухи процентщицы сразу же, как только он до него дошел, а может быть, и раньше: «когда пробил час, все вышло совсем не так, а как-то нечаянно, даже почти неожиданно» (6, 59). В действиях Раскольникова не обнаружилось ни особого рассудка, ни воли, побеждающей все препятствия. Вместо этого вдруг явилось самое странное и легкомысленное суеверие: «...Раскольников в последнее время стал суеверен. Следы суеверия оставались в нем еще долго спустя, почти неизгладимо. И во всем этом деле он всегда потом наклонен был видеть некоторую как бы странность, таинственность, как будто присутствие каких-то особых влияний и совпадений» (6, 52).

Обратим внимание на те случайности, которые подтолкнули Раскольникова к его «новому» и роковому шагу (ср.: «Гм... да... все в руках человека, и все-то он мимо носу проносит, единственно от одной трусости... это уж аксиома... Любопытно, чего люди больше всего боятся? Нового шага, нового собственного слова они всего больше боятся...», 6, 6) и в которых герой усмотрел какое-то указание судьбы, как бы предопределение свыше.

Еще зимой, побывав впервые у старухи процентщицы и почувствовав к ней «непреодолимое отвращение» (6, 53), Раскольников, зайдя в трактир, услышал разговор студента и молодого офицера как раз об этой старухе и именно в том направлении, которое было чрезвычайно близким Раскольникову. Незнакомый герою студент излагал его «арифметическую теорию»: для благополучия, для счастья многих позволительно убить и ограбить одного «без всякого зазору

lib.pushkinskijdom.ru

совести» (6, 54). Рассуждения студента Раскольников услышал в тот момент, когда «странная мысль наклевывалась в его голове, как из яйца цыпленок, и очень, очень занимала его» (6, 53). «Раскольников был в чрезвычайном волнении. Конечно, все это были самые обыкновенные и самые частые, не раз уже слышанные им <...> молодые разговоры и мысли. Но почему именно теперь пришлось ему выслушать именно такой разговор и такие мысли, когда в собственной голове его только что зародились... *такие же точно мысли*? И почему именно сейчас, как только он вынес зародыш своей мысли от старухи, как раз и попадает он на разговор о старухе?.. Странным всегда казалось ему это совпадение. Этот ничтожный, трактирный разговор имел чрезвычайное на него влияние при дальнейшем развитии дела: как будто действительно было тут какое-то предопределение, указание...» (6, 55).

Но почему, спрашивается, Раскольникову показалось странным такое «совпадение» (ведь он сам говорит, что «все это были самые обыкновенные и самые частые» разговоры, «не раз уже слышанные...») и почему вдруг «трактирный разговор» оказал на него такое «чрезвычайное влияние»? При чем здесь «предопределение» и «указание»? На самом деле странен не услышанный героем «трактирный разговор» и не это «совпадение» (оно в подобной ситуации вполне возможно), гораздо более странно то, что Раскольников увидел в них «какое-то предопределение, указание». Если бы герой вполне владел своей волей и рассудком, ему было бы чрезвычайно важно задуматься именно на эту тему: «конечно», это «случайность, но он вот не может отвязаться теперь от одного весьма необыкновенного впечатления, а тут как раз ему как будто кто-то подслуживается...» (6, 53). Так вот: почему вдруг какая-то «случайность» выросла в сознании героя до размеров «предопределения»? и кто ему тут «подслуживается»?

Те же самые вопросы возникают и по поводу другой «случайности», которая окончательно отбросила в сторону все колебания Раскольникова и толкнула его на страшный путь: «...он никак не мог понять и объяснить себе, почему он <...> которому было бы всего выгоднее возвратиться домой самым кратчайшим и прямым путем, воротился домой через Сенную площадь, на которую ему было совсем лишнее идти. Крюк был небольшой, но очевидный и совершенно ненужный. Конечно, десятки раз случалось ему возвращаться домой, не помня улиц, по которым он шел. Но зачем же, спрашивал он всегда <...> такая важная, такая решительная для него и в то же время такая в высшей степени случайная встреча на Сенной <...> подошла как раз теперь к такому часу, к такой минуте в его жизни, именно к такому настроению его духа и к таким именно обстоятельствам, при которых только и могла она, эта встреча, произвести самое решительное и самое окончательное действие на всю судьбу его? Точно тут нарочно поджидала его!» (6, 50—51). Раскольников узнал, что назавтра, в семь часов вечера, Лизаветы не будет дома, и старуха останется в квартире совсем одна. Раскольников вернулся домой, «как приговоренный к смерти. Ни о чем он не рассуждал и совершенно не мог рассуждать; но всем существом своим вдруг почувствовал, что нет у него более ни свободы рассудка, ни воли и что все вдруг решено окончательно» (6, 52). Так сказать, сама судьба

lib.pushkinskijdom.ru

решила. А между тем (не говоря о прочем) откуда вдруг герой в точности узнал, что все будет именно так, как он услышал? Ср.: «Конечно, если бы даже целые годы приходилось ему ждать удобного случая, то и тогда, имея замысел, нельзя было рассчитывать наверное, на более очевидный шаг к успеху этого замысла, как тот, который представлялся вдруг сейчас. Во всяком случае, трудно было бы узнать накануне и наверно, с бо́льшею точностию и с наименьшим риском, без всяких опасных расспросов и разыскиваний, что завтра, в таком-то часу, такая-то старуха, на которую готовится покушение, будет дома одна-одинехонька» (Там же). Но ведь Лизавета могла передумать и не уходить из дома. Могла все-таки доложить о своих делах старухе, как она всегда и делала (ср.: «Да вы на сей раз Алене Ивановне ничего не говорите-с <...> а зайдите к нам не просясь», 6, 51), и старуха могла ее не пустить. Могла, просясь ли, не просясь ли, уйти из дома раньше или позже. Могла, как это и произошло, вернуться и застать Раскольникова на месте преступления. А ведь появление Лизаветы сводило на нет все расчеты героя и совершенно обессмысливало его «арифметическую теорию». Короче говоря, много было разных возможностей, которые легко было предусмотреть, если бы герой вполне владел своей волей и рассудком. И все эти возможности лишали встречу на Сенной того особого и фатального значения, которое придал ей Раскольников.

Если и было герою «какое-то предопределение, указание», то его следовало разглядеть в странных снах, увиденных Раскольниковым как раз перед тем, как он, свернув в сторону с прямой дороги и пустившись в «крюк», пошел на лишнее и лихое «дело». В одном, напомнившем ему об ужасном впечатлении, вынесенном им из детских лет и связанном с убийством немощной и старой лошаденки: «„Боже! — воскликнул он,— да неужели ж, неужели ж я в самом деле возьму топор, стану бить по голове, размозжу ей череп... буду скользить в липкой, теплой крови, взламывать замок, красть и дрожать; прятаться, весь залитый кровью... с топором... Господи, неужели?“ <...> Он почувствовал, что уже сбросил с себя это страшное бремя, давившее его так долго, и на душе его стало вдруг легко и мирно. <...> Несмотря на слабость свою, он даже не ощущал в себе усталости. Точно нарыв на сердце его, нарывавший весь месяц, вдруг прорвался. Свобода, свобода! Он свободен теперь от этих чар, от колдовства, обаяния, от наваждения!» (6, 50). И в другом сне, напомнившем герою о красоте и чистоте девственной природы, созданной для утоления любой естественной человеческой жажды и еще не испорченной порочным, разрушительным вмешательством чьих бы то ни было «дел»: «...всего чаще представлялось ему, что он где-то в Африке, в Египте, в каком-то оазисе. Караван отдыхает, смирно лежат верблюды; кругом пальмы растут целым кругом; все обедают. Он же все пьет воду, прямо из ручья <...> И прохладно так, и чудесная-чудесная такая голубая вода, холодная, бежит по разноцветным камням и по такому чистому с золотыми блестками песку...» (6, 56).[15] Ср. с этими грезами картину «об-

[15] О лермонтовских реминисценциях в этих грезах см.: *Назиров Р. Г.* Реминисценция и парафраза в «Преступлении и наказании» // Достоевский. Материалы и исследования. Л., 1976. Т. 2. С. 94—95.

lib.pushkinskijdom.ru

литой солнцем необозримой степи», которая (уже в эпилоге) напоминает Раскольникову «века Авраама и стад его» и которая предупреждает затянувшееся возвращение героя на прямую дорогу (6, 421).

Наконец, «предопределение» и «указание» можно было разглядеть даже в том обстоятельстве, что Раскольников самым странным и неожиданным образом едва не проспал и не упустил вообще свой «удобный случай» (ср.: 6, 56), и т.д.

Никакая судьба и никакие «случайности» не подстерегают на самом деле Раскольникова на его дороге с тем, чтобы вести его только одним и роковым путем. Те «случайности», которые принимают для него вид принудительный и необходимый, герой в действительности выбирает сам — выбирает именно то, что соответствует «настроению его духа» и его «обстоятельствам». Раскольников видит только то, что совпадает с его дурно направленной волей, согласившейся на преступное «дело», и рассудком, служащим оправданию этого зла (ср. в дальнейшем слова Свидригайлова: «Разум-то ведь страсти служит», 6, 215). Раскольникова ведет по его кривой дороге не «предопределение» и не «судьба» (он сам ее выбирает), а больная воля и помутившийся разум. Иначе говоря, героем движет греховное состояние его души и те злые силы, которые в этом состоянии ему «подслуживаются» [16] и руководят им вплоть до самого преступления: «Последний же день <...> подействовал на него почти совсем механически: как будто его кто-то взял за руку и потянул за собой, неотразимо, слепо, с неестественною силой, без возражений. Точно он попал клочком одежды в колесо машины, и его начало в нее втягивать» (6, 58).

Преступление, этот тяжкий грех, созревает в душе героя в полном согласии с тем, как это описывается в православной литературе: «Зло вошло в мир через волю. Это — не „природа“ <...> а „состояние“ <...> Для святого Григория Нисского грех — болезнь воли, которая ошибается, принимая за доброе его призрак».[17] По убеждению святого Иоанна Златоуста, «никто не бывает злым по необходимости»[18] и никто не бывает преступным по «природе»: «...преступление зависит не от природы, а от собственной воли».[19] В другом месте он высказывает ту же мысль со ссылкой на Христа, который «нигде не осуждает плоть» (т.е. природу), «но везде обвиняет развращенную волю».[20] При этом грех и преступление овладевают человеком постепенно: «В душе нашей несомненно есть прирожденный стыд греха и уважение к добру, и невозможно ей вдруг дойти до такого бесстыдства, чтобы отринуть все зараз, напротив она нисходит до крайней погибели неприметно, мало-помалу...».[21] «В православной аскети-

---

16 Ср.: *Ясенский С. Ю.* Искусство психологического анализа в творчестве Ф. М. Достоевского и Л. Н. Андреева // Достоевский. Материалы и исследования. СПб., 1994. Т. 11. С. 162—164.

17 *Лосский В. Н.* Очерк мистического богословия восточной церкви // *Лосский В. Н.* Очерк мистического богословия восточной церкви: Догматическое богословие. М., 1991. С. 98.

18 Иже во святых отца нашего Иоанна Златоустого... Избранные творения... Т. 2. С. 812. Ср.: «Зло существует не по необходимости». Там же. С. 609.

19 Там же. С. 607.

20 Там же. Т. 1. С. 194.

21 Там же. Т. 2. С. 857.

lib.pushkinskijdom.ru

ке, — пишет В. Н. Лосский, — имеются специальные термины для обозначения различных воздействий, оказываемых духами зла на душу человека». Это «„помыслы“ <...> или образы, подымающиеся из низших областей души <...> затем „прилог“ <...> не то, чтобы „искушение“, а наличие посторонней мысли, пришедшей извне и введенной враждебной волей в сознание. „Это не грех, — говорит Марк Подвижник,— но свидетельство нашей свободы“. Грех начинается лишь при „сочетании“ <...> при прилеплении ума к привходящей мысли или образу, или, вернее, он — некоторый интерес или внимание, указывающее уже на начало согласия с вражеской волей, ибо зло всегда предполагает свободу, иначе оно было бы лишь насилием, овладевающим человеком извне».[22]

Итак, болезнь, которую Раскольников (вопреки своим расчетам) испытывает, как и всякий преступник, и которую он не в силах определить, — не что иное, как состояние греха. Эта болезнь начинается с злого помысла и, достигая постепенно крайней степени (когда этот помысел целиком захватывает душу), доходит до горячечного бреда, до мономании, доходит, наконец, до «дела». «И делаемся мы, таким образом, подвластными (дьяволу. — *В. В.*) за опущение малого, что однако ж ради Христа почтено достойным великого попечения, как написано: „кто не покоряет воли своей Богу, тот попадает под иго сопернику Его“».[23] В своем больном состоянии герой действует своей и не своей волей, в своем и не в своем рассудке. Ср.: «— О, молчите, молчите! — воскликнула Соня <...> — От Бога вы отошли, и вас Бог поразил, дьяволу предал!..

— Кстати, Соня, это когда я в темноте-то лежал и мне все представлялось, это ведь дьявол смущал меня? а?

— Молчите! Не смейтесь, богохульник, ничего, ничего-то вы не понимаете! <...>

— Молчи, Соня, я совсем не смеюсь, я ведь и сам знаю, что меня черт тащил» (6, 321).

Вот почему герой в известной мере прав, точнее, прав как раз наполовину, когда далее говорит: «...старушонку эту черт убил, а не я...» (6, 322). Прав наполовину потому, что убивали они все-таки вместе.

В «деле» Раскольникова важен выбор. Решая проблему собственного и чужого счастья, герой мог воспользоваться лишь двумя возможностями (каким бы ни было в действительности их число): одна, исключая зло, вела Раскольникова прямой дорогой (ср. путь Разумихина); другая, отдавая его в руки дьявола, заставляла блуждать и заблуждаться. С тех пор как выбор был сделан, события развиваются в логике естественных следствий той ошибки, которая побуждала принимать «за доброе его призрак», т.е. в логике греха, основанного на ложных теориях и неправильных расчетах. Иначе и не могло быть. Ведь как бы ни были сложны и многосторонни теоретические построения героя, они в конечном счете сводились к

---

22 *Лосский В. Н.* Очерк мистического богословия... С. 99.

23 Иноков Каллиста и Игнатия Ксанфопулов наставление безмолвствующим, в сотне глав // Добротолюбие. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1992. Т. 5. С. 342.

lib.pushkinskijdom.ru

простенькому заключению — к оправданию софизма, согласно которому грех не есть грех, преступление не есть преступление.

Разумеется, жизнь тотчас показала реальную цену этого софизма, поставив все на свои места. Ведь совершенное убийство и ограбление, чем бы они ни оправдывались, уже нельзя отменить и назвать иначе, чем убийством и ограблением, а того, кто совершил то и другое (каковы бы ни были его достоинства), нельзя назвать иначе, чем убийцей и грабителем. Со всеми вытекающими отсюда результатами. Следуя этим соображениям, Свидригайлов с пренебрежительным высокомерием и говорит о «теориях» Раскольникова (об одной: «своего рода теория», о другой: «так себе теория» — 6, 378) и никак не может понять странной логики героя, позволяющего себе убивать и грабить и негодующего на тех, кто стоит у дверей и подслушивает: «...но, однако, что ж это такое? Я, может, совсем отсталый человек и ничего уж понимать не могу. Объясните, ради Бога, голубчик! Просветите новейшими началами.

— Ничего вы не могли слышать, врете вы все!

— Да я не про то <...> я про то, что вы вот все охаете да охаете! Шиллер-то в вас смущается поминутно. А теперь вот и у дверей не подслушивай. Если так, ступайте да объявите по начальству, что вот, дескать, так и так, случился со мной такой казус: в теории ошибочка небольшая вышла. Если же убеждены, что у дверей нельзя подслушивать, а старушонок можно лущить чем попало, в свое удовольствие, так уезжайте куда-нибудь поскорее в Америку! Бегите, молодой человек! Может, есть еще время» (6, 373).

По мысли Достоевского (мы опускаем анализ других его аргументов ради заключения, прямо связанного с тем, что уже сказано), все «теории», все «высокое и прекрасное» («Шиллер-то, Шиллер-то» в разных обличьях) не имеют никакого отношения к преступлению Раскольникова, к этому «общему» и «частному «делу». Свидригайлов рассуждает более последовательно, чем недоучившийся студент юридического факультета. И он прав: в «деле» Раскольникова самое главное — разрешение преступления «по совести» (т. е. без совести) и само это преступление, а уж как оно мотивировано (хотя бы и «удовольствием»), значения не имеет. И даже так: в злодействе, ничем не украшенном и просто названном злодейством, меньше подлости, чем в злодействе, обряженном в благовидные теории и покровы. Достоевский очень основательно и подробно доказывает мысль, что все соображения об «общем счастье» и вся возвышенная грусть здесь притянуты к преступлению кое-как и на живую нитку.

Если так, то говорить о «новом слове» и «новом» шаге (как это делает Раскольников по поводу своего и не своего «дела») нельзя. Все это было бы из области «высокого и прекрасного» (ведь понятие «новый» имеет у героя оценочный и именно положительный смысл). Нужно говорить о грехе и злодействе, которых и без теорий Раскольникова вполне достаточно в этом мире. Эти горячечные теории вырастают на грешной и преступной почве, и они удерживают в себе весь грех и все преступление, ничего не меняя по существу в том, что есть. Достоевский приводит героя к абсурду, ибо с возмущения против зла и начинаются его поиски особой, благодетельной для себя и чловечества дороги.

lib.pushkinskijdom.ru